Артем Северный

Где не гаснет заря



Артем Северный

Где не гаснет заря

«Автор»
2026

Северный А.

Где не гаснет заря / А. Северный — «Автор», 2026

«Где не гаснет заря» — атмосферный роман о побеге от рутины и поиске себя в сердце Карелии. Современный оммаж повести «Белые ночи» Ф. М. Достоевского.Девять лет Артём жил механической жизнью питерского чиновника, пока в один день не сбежал от серых будней в глухую деревню Импилахти на берегу Ладоги. Там, среди суровых скал и безмолвных сосен, он встречает Веру. Каждую белую ночь она упрямо плывет на далекий остров, чтобы зажечь керосиновую лампу. Это маяк для Глеба — мужчины, который пропал в экспедиции год назад и обещал вернуться, когда «заря не уйдёт совсем».Артёму, привыкшему прятаться в мире бесплодных грёз, придётся столкнуться с чужой верностью и настоящим ладожским штормом. Рискнет ли мечтатель жизнью ради чужого счастья?Книга соткана из аромата хвои, шума волн, вкуса горячих калиток и пронзительной надежды на то, что никогда не поздно начать жить по-настоящему.

© Северный А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Где не гаснет заря 6
Ночь первая 7
Ночь вторая 12
Конец ознакомительного фрагмента. 14

Артем Северный
Где не гаснет заря

Где не гаснет заря

Роман в трёх ночах, с утром и эпилогом

«…Или он для того лишь и создан, чтобы хоть мгновение побыть в соседстве с твоим сердцем?..»

Ночь первая

I. Беглец

Была чудная ночь, такая ночь, какая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое светлое, такое прозрачное, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди?

Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой, но пошли его вам господь почаще на душу!

Говоря о людях сердитых и капризных, я не мог не припомнить и своего собственного поведения. С самого понедельника меня мучила какая-то удивительная тоска. Меня зовут Артём, фамилия моя Северный, и, право, никогда ещё фамилия не была так некстати человеку: я вовсе не северный, а самый петербургский, самый казённый, самый сидячий. Девять лет я служу, девять лет хожу в один и тот же час по одной и той же набережной, и меня уже знает каждый фонарь, а я знаю каждый фонарь и даже, кажется, их настроения. Какой-нибудь третий слева на Фонтанке хандрит в дождь, а в ясный день глядит франтом.

Но чтобы вы поняли, как человек дошёл до побега, я должен рассказать вам про пятницу.

Пятница началась, как начинались все мои пятницы: с лифта, который застревал между третьим и четвёртым этажами ровно на столько секунд, чтобы успеть возненавидеть весь белый свет, и с Павла Игнатьевича, начальника нашего отдела, который встретил меня у дверей с папкой в руках и с таким лицом, какое бывает у врача, несущего дурной анализ.

— Северный! Вы-то мне и нужны. Отчёт за квартал.

— Он лежит у вас на столе со вторника, Павел Игнатьевич.

— На столе он лежит, — согласился он задумчиво, — а вот в голове у меня его нет. Перескажите вкратце.

Я пересказал вкратце. Он кивнул, поморщился и велел «добавить динамики». Динамики в квартале не было никакой: он был так же неподвижен, как я сам. Я просидел над ним до семи вечера, придумывая динамику, и, придумав, почувствовал себя мошенником и немножко поэтом, что, как известно, почти одно и то же.

В коридоре меня догнала Зиночка из бухгалтерии, существо доброе и бесстрашное.

— Артём Сергеевич, вы чего такой серый? — спросила она. — Прямо как ваш пиджак.

— Пиджак у меня синий.

— Вот я и говорю, — сказала Зиночка и убежала.

Я дошёл до дому, поднялся к себе, повесил пиджак, сел на кровать и посмотрел на обои. Тут-то и случилось то, о чём я вам говорил. Я вдруг понял, что если проведу ещё один вечер в своей комнатке, с обоями, в которых знаю каждый цветочек, то сойду с ума или, что ещё хуже, сделаюсь окончательно доволен.

И я бежал.

Я взял сумку, сунул в неё две рубашки и книгу, которую никогда не дочитаю, и сел в ночной поезд. Ехал, ехал, ехал; в окне всё менялось: сначала мелькали серые дома, потом дачи, потом всё реже и реже, и наконец потянулись леса, чёрные, как сажа, и светлое небо над ними, которое не хотело темнеть. Проводница, женщина с усталыми добрыми глазами, принесла мне чай в тяжёлом подстаканнике и спросила:

— До Сортавалы?

— До Сортавалы. А оттуда как-нибудь до Импилахти.

— Это вас кто же туда надоумил? — удивилась она. — Там ничего нет. Камни, вода, и всё.

— Вот и хорошо, — сказал я. — Мне как раз этого и не хватает.

— Камней?

— Воды, — ответил я, не очень зная, что говорю. — И чтобы ничего.

Она посмотрела на меня внимательно, как смотрят на человека, который собирается сделать глупость, но глупость безобидную, и ушла. А я пил чай, и в нём дрожала ложечка в такт колёсам, и мне казалось, что я не еду, а лечу по какой-то светлой трубе, на другом конце которой меня кто-то ждёт.

В Сортавале я пересел на старый автобус, где пахло бензином и мокрой одеждой. Водитель, большой рыжий мужчина с руками, как лопаты, всю дорогу молчал, а на подъезде сам заговорил, не оборачиваясь:

— Вы к кому?

— Я снял дом. У Анфисы Тихоновны.

— У Тихоновны, — повторил он и усмехнулся в рыжую бороду. — Ну, это хорошо. Она вас сама разглядит.

— Что значит «разглядит»?

— Это значит, — сказал он, — что молчать будет, а всё про вас знать.

Мне стало немного не по себе, но тут лес расступился, и в разрыве между соснами сверкнуло что-то огромное и белое, и я забыл о всякой Тихоновне.

II. Дом на берегу

К вечеру я очутился в Карелии, в деревне Импилахти, на северном берегу Ладоги, в снятом на три дня доме.

Дом оказался маленький, бревенчатый, потемневший от времени, с крылечком и крохотной банькой на задворках. Наличники окон были выкрашены когда-то в голубой цвет, но краска облупилась, и дом смотрел на мир, как старый моряк, которого не обманешь ни ветром, ни лестью. Хозяйка, молчаливая женщина лет шестидесяти с мягким северным выговором, встретила меня на крыльце. Она была невысока, сухощава, в тёмном платке; лицо её, обожжённое ветром, казалось вырезанным из тёмного дерева, а глаза были светлые, почти прозрачные, цвета озёрной воды в пасмурный день. Она оглядела меня с головы до ног, и я почувствовал себя пиджаком, который выбирают в магазине.

— Артём, — сказал я и протянул руку. — Северный.

— Анфиса Тихоновна, — ответила она и руку пожала так крепко, что я чуть не вскрикнул. — Северный, говорите? Хорошая фамилия. Не по вам.

— Мне уже говорили.

— Кто?

— Все, — признался я.

Уголки её губ дрогнули, и я понял, что это здесь заменяет смех.

Она показала мне комнату: узкую кровать с лоскутным одеялом, стол у окна, печку, пахнущую холодной золой, и полку, где стояли три книги без корешков и банка с сухим зверобоем. В окне, прямо за огородом, за плетнём, за узкой полосой камышей, лежало озеро.

— Сеть тут не ловит, — сказала хозяйка. — Если вам кому нужно звонить, надо на горку, к берёзе. Но я бы не советовала.

— Почему?

— Оттуда всё видно, — сказала она, не пояснив, что именно. Потом отдала мне ключ и прибавила: — Озеро близко. Не заблудитесь, там свет долго не гаснет.

И ушла, и дверь за ней закрылась так тихо, будто её и не было.

Я вышел на крыльцо, и тут со мной случилось то, что случается, я думаю, с человеком, которого долго держали в тесной комнате и вдруг выпустили на простор: я остановился как вкопанный.

III. Ладога

Передо мной лежала Ладога. Она была тиха, огромна и бледна, как молоко, в которое капнули немного серебра. Берег был изрезан заливами; из воды торчали гранитные валуны, круглые, тёмные, будто спины каких-то древних зверей, уснувших в воде и не пожелавших просыпаться. За ними чернели острова, поросшие соснами, и каждая сосна стояла отдельно, прямая и важная, словно чиновник высокого ранга на приёме. Воздух был так чист, так пах смолой, водой и нагретым за день камнем, что у меня закружилась голова, как у человека, отвыкшего дышать.

И было светло. Часы показывали уже за одиннадцать, а небо на севере не гасло, а только розовело и желтело, как будто заря и не думала уходить, а лишь присела отдохнуть на краю озера. Это была белая ночь, мои любезные, настоящая, северная, и не такая, как в Петербурге, где она полна мостов, огней и толпы, а тихая, почти строгая, одинокая.

Я спустился по тропинке к самой воде. Тропинка была узкая, усыпанная сосновыми иглами, и пахла нагретой хвоей и чем-то горьковатым, вроде полыни. Вода у берега была такая прозрачная, что видны были каждый камушек на дне, каждая водоросль, каждая крохотная рыбка, застывшая на месте, как мысль, которую забыли додумать.

Я сел на камень, тёплый ещё от дневного солнца, и мне вдруг стало так хорошо и так грустно, что я чуть не заплакал. Где-то далеко прокричала птица, должно быть гагара, и крик её прокатился над водой, как вопрос, на который никто не ответит.

«Вот, — думал я, — я прожил девять лет, и ни разу никто не встретил меня так».

— Гагара, — сказал за моей спиной негромкий голос. — К перемене погоды.

Я вздрогнул и обернулся. На перевёрнутой лодке, метрах в пяти от меня, сидел старик. Я не заметил его, потому что он был одного цвета с лодкой, и с берегом, и со всем вокруг: серо-бурый, обветренный, с трубкой в зубах, дымок которой вился вверх так прямо, что казалось, будто его провели по линейке.

— Здравствуйте, — сказал я. — Я вас не заметил.

— Меня многие не замечают, — согласился старик. — Это полезно. Я Тимо. А вы городской.

— Откуда вы знаете?

— Вы сидите на камне так, будто он может исчезнуть, — сказал Тимо. — Здешние сидят иначе. Они знают, что камень никуда не денется. Камень — это единственное, что тут надёжно.

— А что ненадёжно?

— Всё остальное. — Он выпустил дым. — Вода. Погода. Люди. Особенно люди, которые обещают.

Я хотел спросить, что он имеет в виду, но Тимо смотрел уже не на меня, а куда-то за мою голову, на озеро, и лицо его сделалось неподвижным, как у человека, увидевшего знакомое, но не желанное.

— Вот, — сказал он тихо. — Опять.

Я повернулся.

В километре от берега, там, где чернел самый большой остров, поросший редкими соснами и похожий издали на спящего зверя, вспыхнул огонь. Не костёр: огонь был слишком маленький и слишком ровный. Крохотная жёлтая точка, неподвижная и тёплая, как глаз. Она горела на самой высокой точке острова, там, где, как мне показалось, стояла какая-то невысо-

кая каменная пирамида. А потом точка дрогнула, поплыла и стала спускаться, и я понял, что это человек несёт лампу.

От острова к берегу двинулась лодка. Я видел, как она скользит по бледной воде, чёрная и узкая, как стрела, и как мерно поднимаются и опускаются вёсла. В лодке сидела одна фигура. Лампа стояла у её ног и освещала снизу лицо, которого я не мог разглядеть, и руки, бледные, как вода.

— Кто это? — спросил я шёпотом.

Тимо долго молчал.

— Не смотрите долго на огонь, городской, — сказал он наконец. — Он зовёт. Особенно тех, кому нечем заняться. А вы, по лицу, как раз такой.

— Но кто это?

— Это, — ответил Тимо, поднимаясь и выколачивая трубку о борт лодки, — не моё дело и не ваше. Спокойной ночи.

Он ушёл по берегу, не оглянувшись, и через минуту растворился в светлых сумерках так бесследно, что я усомнился, был ли он вообще.

А лодка приближалась. Она вышла из тени острова, и я увидел, что за вёслами сидит женщина. На ней была светлая куртка, волосы тёмные, собранные кое-как, и она гребла так умело и так упрямо, как гребут люди, которым нужно непременно успеть. Лодка ткнулась носом в песок в десятке шагов от меня. Женщина выпрыгнула, подхватила лампу, потушила её одним движением и выпрямилась.

На секунду мы встретились глазами. Она была совсем молода, лет двадцати восьми или двадцати девяти, с лицом не то чтобы красивым, но таким живым, что красота рядом с ним показалась бы глупой: тёмные брови, сведённые усталостью, серые глаза, скулы с лёгким румянцем от ветра. В глазах у неё было что-то такое, чего я не мог назвать: какое-то ожидание, которое ни разу не получило ответа и всё же не сдавалось.

Мне стало неловко, как бывает неловко, когда застанешь человека в чужой тайне. Я вскочил.

— Простите, — пробормотал я. — Я не хотел…

— Вы сидите на моём камне, — сказала она.

Голос у неё был низкий, чуть хрипловатый, с мягким северным выговором, и сказала она это не сердито, а скорее устало, как говорят о вещи, которую давно перестали считать своей собственностью.

— Я немедленно…

— Нет-нет. — Она махнула рукой. — Сидите. Просто я приходила сюда каждую ночь, и привыкла, что камень пустой. — Она помолчала и вдруг прибавила тише: — Он тёплый. Этот камень долго держит тепло. Вы заметили?

— Заметил, — сказал я.

— Хорошо, — сказала она, как будто это было очень важно. — Значит, вы хороший человек. Плохие этого не замечают.

Она вытащила лодку на песок, перекинула через плечо сумку, взяла потухшую лампу и, не простившись, пошла вверх по тропинке. Я смотрел ей вслед, и сердце моё, любезный читатель, билось так, как не билось девять лет, глупо, звонко, как будто хотело вырваться и догнать её.

— Подождите! — крикнул я. — Как вас…

Но она уже скрылась за соснами. Остались только мокрый след на песке, лодка с вёслами и тишина, которая вдруг показалась мне не пустой, а полной, как чаша.

Я долго стоял у воды. Над островом, над чёрным силуэтом, над каменной пирамидой, где ещё минуту назад горел огонь, небо стало розовым и золотым, и свет его лёг на воду широкой

дорогой. Кто она? Кому она светит? И почему мне показалось, что, уходя, она всё-таки на мгновение обернулась?

Я не знал. Я знал только одно: что приехал в эту деревню на три дня, и что один из них уже кончился.

Ночь вторая

I. Калитки и Лийка

Я проснулся поздно, но утро, как мне показалось, не имело к этому никакого отношения: оно было тут давно и ждало меня с терпением, какого не бывает у людей.

В окне стояло солнце, плоское и ласковое, и на подоконнике грелась муха, которая смотрела на меня без всякого почтения. В доме пахло печёным. Я вышел в сени и нашёл на столе завтрак: горячие калитки, открытые карельские пирожки с ржаной корочкой и пшённой кашей внутри, миску с маслом и кринку молока. Рядом лежала записка из одной строчки: «Ешьте. Не стесняйтесь. А.Т.».

Я не стеснялся. Я съел четыре, потом ещё полпятой и вдруг понял, что за девять лет не помню завтрака, который имел бы вкус. В Петербурге завтрак был для меня событием вроде дежурной фразы: произносишь, не вдумываясь.

— Вкусно? — спросил голос.

Я подпрыгнул. В дверях стояла девочка лет восьми, в резиновых сапогах не по размеру и в платке, сбившемся на затылок. Два передних зуба у неё отсутствовали, что придавало её улыбке выражение лукавого заговорщика.

— Вы тот, который вчера видел огонь, — сказала она. — Дедушка сказал.

— Какой дедушка?

— Тимо. Он всё про всех знает, только не говорит. А я говорю. Меня Лийка зовут. — Она подошла и без церемоний взяла калитку из моей миски. — Вы городской. У вас лицо городское. Бледное и испуганное.

— Я не испуган.

— Испуганное, — убеждённо повторила Лийка. — Вы на огонь смотрели? Вот. Все, кто смотрят, потом такие. Тётя Вера тоже такая, только она не городская, а просто…

— Лийка!

Анфиса Тихоновна возникла за её спиной так бесшумно, словно выросла из половицы. В руках у неё был тяжёлый чугунок, и она держала его так, что в ту минуту я не поставил бы на Лийку ни копейки.

— Молоко отнесла? — спросила хозяйка.

— Отнесла.

— Тогда иди и не мешай человеку завтракать.

— Я не мешаю, я рассказываю. — Лийка надкусила калитку и посмотрела на меня поверх неё серьёзными голубыми глазами. — Он ещё не знает про…

— Лийка, — повторила хозяйка тихо.

И девочка исчезла, оставив после себя запах мокрой резины, крошки и одно-единственное слово: «Вера».

Я уронил ложку.

Нужно, любезный читатель, чтобы вы поняли, что значило для меня это слово, но я не могу объяснить вам этого сейчас. Скажу лишь, что накануне, сидя на камне у воды, я придумал имя той, которую никогда не видел. И имя это было именно такое.

— Вы бледный, — сказала Анфиса Тихоновна, ставя чугунок. — Опять бледный. Кушайте.

— Анфиса Тихоновна, — начал я, поднимая ложку, — скажите, пожалуйста…

— Не скажу.

— Я ещё не спросил.

— Спросите, — согласилась она. — Только про Веру не спрашивайте. Она сама расскажет, если захочет. А если не захочет, то и мне говорить не следует. Тут так заведено.

— А про огонь?

— Огонь горит, — сказала она с суровой простотой. — Для того он и огонь.

И я понял, что в этой деревне все знают одну и ту же тайну и что каждый хранит её по-своему: Тимо молчит, Лийка выбалтывает по кусочку, а Анфиса Тихоновна кормит калитками, чтобы рот был занят.

II. Лес

Я пошёл в лес. Нужно знать, что такое карельский лес, любезный читатель, чтобы понять, как человек может в нём потеряться, ещё не заблудившись. Он не похож на наши чинные парки. Он дик и в то же время приветлив, как большой добрый зверь. Под ногами мягкий, пружинистый мох, зелёный и седой, такой толстый, что ступаешь, как по перине. Сквозь него торчат скалы, поросшие лишайником, рыжие и серебристые, словно их обмахнули кистью. Между скал стоят сосны, высокие, медно-красные у основания, а повыше стоят берёзы, и листья их дрожат, как будто что-то шепчут друг другу. Кое-где в ложбинах темнеет ельник, строгий и молчаливый, а у воды ольха склоняет ветви и заглядывается на своё отражение.

Свет здесь падал иначе, чем в городе. Он не освещал, а просеивался: сквозь хвою, сквозь листву, сквозь тонкую паутину, повисшую между двух стволов, и ложился на мох светлыми пятнами, которые перемещались, стоило подуть ветру. Мне казалось, что я иду по дну светлого моря, а над головой качаются водоросли. Где-то стучал дятел, деловито и коротко, как чиновник, ставящий печати. Пахло смолой, прелой хвоёй, грибной сыростью и чем-то сладким, должно быть, багульником.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.